

# Лекция 2. Главные признаки устройств безопасности

18 января 1978 г. Главные признаки устройств безопасности (II): отношение к событию: искусство управлять и обращение со случайным. — Проблема голода в XVII и XVIII веке. — От меркантилистов к физиократам. — Различия между устройством безопасности и дисциплинарным механизмом в характере обработки события. — Новая рациональность управления возникновение «населения» (В тексте лекции разговор о новой рациональности управления и возникновении «населения» в целом предшествует развёрнутому сравнению устройств безопасности и дисциплинарных механизмов по их отношению к событию. — Прим. пер.). — Заключение о либерализме: свобода как идеология и техника управления

Итак, мы приступили к изучению того, что можно было бы назвать формой, только формой, некоторых из наиболее важных устройств безопасности. В прошлый раз я сказал вам несколько слов о взаимоотношении территории и среды. Используя несколько текстов, на примере ряда проектов планировки городских поселений, последним из которых был относящийся к XVIII веку проект действительного обустройства ранее существовавшего города, я попытался прежде всего продемонстрировать, как суверен, управляющий определённой территорией, становится архитектором дисциплинарного пространства, а

также почти в то же самое время своего рода регулятором среды. И в качестве такого регулятора он уже не столько укрепляет рубежи, границы и не столько определяет размещения, сколько поддерживает, гарантирует, обеспечивает обращение, будь то обращение людей, товаров или воздуха. По правде говоря, для XVIII века данная функция суверенов структурировать пространство и территорию вовсе не является чем-то новым. В конце концов, что же это был за суверен, если он не собирался строить мост через Босфор или передвигать горы? (В рукописи вместо этой фразы указаны три имени: «Немрод, Ксеркс, Ю. Конг». — Прим. ред.) Однако, поскольку мы действительно хотим в ней разобраться, нужно как раз знать, в состав какой общей экономики власти входят тот или иной проект и то или иное структурирование пространства и территории. На что ориентирована данная экономика: на разметку территории или на её завоевание? Какова её цель: дисциплинировать субъектов и сделать их производителями богатств или же сформировать для населения то, что было бы для него средой — средой его жизни, повседневного существования и труда?

А теперь я хотел бы вернуться к этому анализу устройств безопасности, чтобы на новом примере рассмотреть другой аспект вопроса: уже не отношение правительства к пространству и среде, а его отношение к событию. (Здесь М. Фуко прерывается для того, чтобы сделать замечание, касающееся магнитофонов: «Вообще-то я не против всяких аппаратов, но — извините, что я вам это говорю, — у меня, не знаю, видимо, всё же есть некая аллергия к подобным вещам...». — Прим. ред.) Итак, проблема события. Я сразу же обращаюсь к примеру, примеру голода. Голода в несколько специфичном значении данного слова, а именно в смысле — как писал один экономист второй половины XVIII века, экономист, о котором мы должны будем ещё поговорить — «действительного недостатка зерна, необходимого для обеспечения жизни нации». [1] Но тогда голод представляет собой состояние нехватки, существующей в режиме самовоспроизводства и, более того, если данному процессу ничто не препятствует, нарастающей и усиливающейся.

В самом деле, это состояние, которое оборачивается ростом цен. Чем интенсивнее растут цены, тем, разумеется, сильнее стремление предпринимателей в целях ещё большего увеличения цен на них складировать и удерживать при себе дефицитные продукты питания, и в результате в какой-то момент население оказывается неспособным удовлетворять свои самые элементарные жизненные потребности. С точки зрения правительства, во всяком случае французского правительства XVII–XVIII веков, голод принадлежит к числу крайне нежелательных событий, и его нужно избегать по целому ряду причин, из которых я назову лишь самую очевидную, причём являющуюся для властей определяющей. Голод — это событие, непосредственные и наиболее серьёзные последствия которого заявляют о себе, разумеется, в первую очередь в городской среде: в сельской местности он переносится всё-таки относительно — именно относительно — менее тяжело. Как бы то ни было, в городе он почти сразу же и с высокой степенью вероятности приводит к бунту. И этот городской бунт начиная с XVII века воспринимается властями как угроза самому их существованию, вследствие чего они всеми силами стремятся избежать наступления голода. Для населения голод означает бедствия, для правительства — катастрофу или, если хотите, кризис. При самом общем подходе, если ограничиться анализом своего рода философско-политического измерения голода как разновидности бедствия, нужно иметь в виду две категории, с помощью которых политическая мысль

издавна пыталась постичь неотвратимое несчастье. [Во-первых], речь идёт о старой античной, греко-латинской, категории судьбы, злого рока.

В сущности, голод, поскольку его ближайшими и наиболее очевидными причинами являются такие, как непогода, засуха, заморозки, чрезмерная влажность, то есть факторы, неподконтрольные человеку, — это напасть в её чистом виде. Однако, как вам известно, фиксируемое понятием злого рока бессилие людей всё же не абсолютно. И в целом здесь мы сталкиваемся с политическим, нравственным и космологическим концептом, который, начиная с Античности и вплоть до времени Макиавелли, а по сути дела, и Наполеона, определял не только характер философско-политического видения несчастья, но и схему поведения в сфере политики. Политический деятель на протяжении греко-римской Античности, Средневековья и последующего периода, включая наполеоновскую эпоху, а возможно, и более поздний отрезок истории, вступает со злым роком в игру, и эта игра, как показал Макиавелли, подчиняется вполне определённым правилам. [2] Таким образом, по отношению к народу и государю голод оказывается не чем иным, как одной из фундаментальных форм злого рока.

Во-вторых, философской и нравственной матрицей, позволяющей осмыслять голод, является также и представление об испорченной природе человека. В принципе, связь между этой испорченной природой и голодом существует в силу того, что последний предстаёт в качестве кары. [3] Если, однако, характеризовать ситуацию более конкретно и более точно, то дурная природа человека обуславливает голод, заявляет о себе как одна из его причин: в той мере, в какой алчность людей — жажда наживы, стремление нарастить барыши, эгоизм — побуждает их скупать, складировать, удерживать у себя продовольственные товары, увеличивая тем самым нехватку продовольствия на рынке. [4] Итак, нравственно-правовое понятие дурной, испорченной человеческой природы и политико-космологическое понятие злого рока — вот две главные категории осмысления феномена голода.

Но важен и гораздо более детальный, институциональный подход, отталкивающийся от представления о техниках управления, техниках политического и экономического руководства социумом. Что же было предпринято в целях противодействия голоду во французском обществе XVII-XVIII веков? В борьбе с ним власти достаточно быстро стали использовать целую систему мер, которая, на мой взгляд, оказалась одновременно и правовой, и дисциплинарной системой и законности, и регламентации. И от неё ожидали максимальной эффективности: она была призвана способствовать не только быстрому выходу общества из ситуации нехватки продовольствия, но и в полном смысле слова предотвращению голода, то есть недопущению его наступления в будущем. Эта правовая и дисциплинарная система функционирует в режиме ряда известных вам классических мер, а именно ограничения цен на зерно, существенного ограничения прав на его складирование (производителям и заготовителям запрещалось делать его долговременные запасы — оно должно было сразу же поступать в продажу) и ограничения зернового экспорта (У Фуко — «импорта». — Прим. ред.) (зерно нельзя было отправлять за границу, а в предвидении тех случаев, когда его количество на внутреннем рынке оказывалось столь большим, столь значительным, что это изобилие грозило привести к резкому падению цен на хлеб и, следовательно, лишить крестьянство доходов, правительство просто издавало указы об ограничении посева зерновых).

Итак, мы имеем дело с целой серией ограничений — ставятся пределы ценам на зерно, его запасам, вывозу зерновых за границу и их количеству на внутреннем рынке. Однако данная система предполагает и прямое принуждение, ибо власти обязывают крестьян выращивать по крайней мере минимальное количество зерна и запрещают возделывание некоторых других культур. К примеру, чтобы вынудить сельское население засеять свои участки зерновыми, они заставляют его вырубать виноградники. Во избежание роста цен на зерно власти обязывают торговцев осуществлять его быструю продажу и с самого начала сбора урожая зерновых прибегают к использованию целого ряда мер надзора, позволяющих взять под контроль создание запасов зерна и воспрепятствовать их вывозу из страны и из одной провинции в другую, в том числе и морским путём. Но для чего всё это, с какой целью создаётся такого рода правовая и дисциплинарная система ограничений, принуждений и постоянного надзора? В данном случае, разумеется, ставится задача добиться того, чтобы зерно в стране продавалось по как можно более низким ценам, чтобы крестьяне, следовательно, получали как можно более низкий доход и чтобы жители городов в результате обеспечивали себя питанием с как можно меньшими затратами, что в свою очередь позволяло бы выплачивать им как можно более низкую заработную плату.

Эта ориентация на минимизацию цен на зерно, крестьянских доходов, стоимости продуктов для горожан и размера их заработной платы, как вам известно, представляет собой не что иное, как основополагающий принцип политики, последовательно, организованно проводимой в течение периода, который можно назвать меркантилистским, если под меркантилизмом понимать использование тех техник управления и руководства экономикой, что получили распространение в Европе с начала XVII до начала XVIII века. Стало быть, чего же ждут от использования этой непосредственно направленной против голода системы, от введения соответствующих запретов и сдержек? Прежде всего того, что всё зерно будет поступать на рынок, причём в максимально сжатые сроки. Поскольку оно быстро окажется на рынке, население в значительно меньшей степени ощутит на себе его нехватку, а это, при условии запрета на его экспорт (У Фуко — «импорта». — Прим. ред.) и неоправданное складирование, а также на повышение цен на хлеб, позволит избежать самого опасного: всплеска цен на продукты питания и голодных бунтов в городах.

Итак, перед нами система, направленная против голода, система, сосредоточенная на событии, которое может произойти и которому пытаются помешать стать реальностью. Я думаю, здесь нет необходимости подробно обсуждать изъяны всей этой совокупности мер: о них много было сказано, и они хорошо известны. А суть дела в следующем. Во-первых, такого рода удержание цен на хлеб на предельно низком уровне неизбежно оборачивается тем, что даже в ситуации избытка полученного зерна — а пожалуй, как раз прежде всего в данной ситуации — крестьяне начинают разоряться, ибо избыток зерна на рынке всегда понижает его цену, и в конечном счёте цена на зерно (У Фуко — «себестоимость зерна». — Прим. ред.) может упасть ниже величины стоимости затрат на выращивание и сбор урожая; итак, доходы крестьянина стремятся к нулю, а порой бывает и так, что он оказывается не в состоянии хотя бы возместить потраченные средства. Во-вторых — и это ещё одно отрицательное следствие попыток удержать цены на хлеб на минимальном уровне, — поскольку крестьяне даже в самые урожайные годы не получают от продажи зерна достаточной прибыли, они поставлены перед необходимостью, просто вынуждены сокращать посев зерновых, и чем меньше их доход, тем, разумеется, меньшую площадь

своей земли для их выращивания они отводят. Но тогда стоит только параметрам климата в стране хотя бы незначительно отклониться от нормы (я хочу сказать: стоит только климату стать хотя бы немного, допустим, более холодным, более сухим или более влажным, чем обычно), как зерна, полученного на засеянных участках, для удовлетворения потребностей населения будет не хватать, а значит, неизбежно наступит голод. Таким образом, эта политика как можно более низких цен вовсе не отодвигает от страны постоянной угрозы голода, то есть как раз того бедствия, которое она, казалось бы, и должна была предотвратить.

[Я прошу прощения за] слишком сжатый и несколько академичный характер изложения... Что же происходит в XVIII век, в период, когда была осуществлена попытка преодолеть недостатки этой системы? Принято считать, и в определённом отношении это действительно так, что принцип свободы торговли и оборота зерна как наиболее важный принцип экономического управления [5] начинает выходить на первый план как раз в рамках новой концепции экономики, которая получила название физиократической доктрины и появление которой стало, пожалуй, поворотным пунктом в развитии экономической мысли, экономического анализа. Имеется в виду следующее: данный принцип выступает теоретическим, а лучше сказать, практическим следствием фундаментального для физиократов положения о том, что чистый продукт, который в состоянии получить та или иная нация, — это исключительно, или почти исключительно, продукт крестьянского труда. [6]

Вообще говоря, идея свободного обращения зерна действительно представляет собой один из закономерных логических выводов из построений физиократов. Но с тем, что французское правительство в период 1754–1764 годов взяло её на вооружение под влиянием физиократической мысли как таковой, лишь под воздействием физиократов, согласиться всё-таки трудно: в действительности, я думаю, появление новой экономической теории было не единственным фактором, обусловившим принятие властями политического решения о пересмотре программы управления экономикой. И, мне думается, не так уж трудно показать, что процессы, происходившие тогда и приведшие к знаменитым эдиктам и «декларациям» 1754–1764 годов, — это на самом деле осуществлявшаяся, по-видимому при поддержке и участии физиократов с их теоретическими выкладками, серьёзная трансформация или, лучше сказать, фаза большой трансформации техник управления, а также один из этапов становления того, что я называю устройствами безопасности. Иначе говоря, у нас есть основания рассматривать реализацию принципа свободного обращения зерна сразу и в качестве следствия распространения соответствующей теоретической концепции, и как составную часть перестройки технологий власти, и в виде структурного элемента формирования устройств безопасности, функционирование которых, как мне кажется, является характерной чертой — одной из характерных черт — новоевропейских обществ.

Здесь нужно иметь в виду следующий достоверно установленный факт: к выводу, что свободное обращение зёрна не только создаёт благоприятнейшие условия для извлечения прибыли, но и служит весьма эффективным средством защиты от такого бедствия, как голод, правительства некоторых стран пришли задолго до физиократов. Английские политические деятели во всяком случае сделали его очень рано, в конце XVII века, и ещё в

1689 году вынесли на обсуждение парламента и убедили его принять пакет законов, которыми в стране в итоге вводился, учреждался режим свободы обращения зерна и торговли хлебом, не исключавший, однако, стимулирующего и корректирующего воздействия на экономику со стороны правительства. Этими законами, во-первых, устанавливалась свобода экспорта как гарант того, что в благополучные годы, то есть в период хороших урожаев и изобилия продовольственных товаров на рынке, цены на хлебное зерно и зерно в целом останутся на приемлемом уровне, а не обрушатся именно вследствие избытка продовольствия в стране. Чтобы исключить падение цен, правительству предписывалось не только не препятствовать экспорту зерновых, но, наоборот, стимулировать и поощрять его посредством системы льгот, предоставляемых экспортёрам. [7] А во-вторых, законы наделяли правительство правом в эти благополучные годы, опять-таки во избежание недопустимого понижения цен на продовольствие, с помощью специальных пошлин ограничивать ввоз зерна в Англию из-за границы. [8] И соответствующая экспортная и импортная политика имела успех: благодаря ей властям удавалось добиваться оптимальных цен на продовольственные товары в стране.

Во Франции эта английская хозяйственная модель 1689 года стала предметом пристального внимания как теоретиков-экономистов, так и всех тех, кто занимал более или менее ответственные посты в административной, политической и экономической сферах. [9] В сущности, в XVIII веке проблема свободы обращения зерна была здесь одной из главных политических и теоретических проблем на протяжении целых тридцати лет. И в процессе её решения можно, если угодно, выделить три фазы. Сначала, до 1754 года, в период, когда доминирующая юридическо-дисциплинарная система демонстрирует отрицательные результаты своего функционирования, мы имеем дело с длительной фазой экономических дискуссий о её достоинствах и недостатках; в итоге в 1754 году во Франции утверждается хозяйственный порядок, в целом схожий с английским: он предполагает свободу обращения зерна, которая, однако, является относительной, ибо власти оставляют за собой право корректировать и направлять в нужную сторону экономические процессы. [10] Затем, на этапе с 1754 до 1764 года, когда — но не раньше — на теоретической и политической сцене французской жизни появляются физиократы, движение за свободу зернового обращения в стране значительно активизируется». И наконец эдиктами мая 1763 года [12] и августа 1764 года [13] во Франции вводится почти полная, с незначительными ограничениями, свобода обращения зерна. Перед нами, следовательно, победа физиократов, [14] но также и тех, кто, к примеру последователи Гурне, [15] не будучи физиократами как таковыми, действовали в том же направлении. Как видим, свобода обращения зерна утверждается в 1764 году. К несчастью, эдикт был принят в августе (1764 год), а уже в сентябре, то есть несколько недель спустя, в стране произошёл стремительный взлёт цен на продовольственные товары, спровоцированный неурожаем в Гиени.

В сложившейся ситуации власти, разумеется, не могли не задуматься над вопросом об отмене только что принятого решения. И это определило характер третьего этапа экономических дискуссий: в ходе него физиократам и тем, кто, не являясь физиократами, придерживался аналогичных взглядов, пришлось защищать идеи свободы зернового обращения от атак со стороны её, казалось бы, уже почти полностью побеждённых противников. [16] В данном случае мы, таким образом, имеем дело с целым набором документов, проектов, программ, комментариев. Здесь я обращусь лишь к одному из

источников: предельно кратко, ясно и вместе с тем весьма важному для нашего разговора. Я имею в виду датированную 1763 годом «Записку купца о природе торговли зерном». Она была написана человеком по имени Луи-Поль Абей, [17] который, однако, интересен для нас не только в качестве автора этого широко известного в своё время текста, но и тем, что, развивая взгляды Гурне, он активно использовал ключевые идеи физиократов.

Его, стало быть, можно рассматривать как представителя своего рода объединяющей линии в эволюции экономической мысли той эпохи. Однако под каким же углом зрения мы подойдём к данному тексту, учитывая, что он является лишь одним из серии ему подобных и что положения, из которых исходит Абей в «Записке купца», не так уж трудно, на мой взгляд, обнаружить и в произведениях других авторов? Да, мы могли бы описать эту работу в рамках анализа соответствующего теоретического пространства, стремясь выявить характерные для неё определяющие принципы, правила образования понятий, конструктивные элементы и так далее, и тогда нам, разумеется, нельзя было бы не обратиться к проблематике теории чистого продукта. [18] Но я хотел бы рассмотреть данное эссе иначе: не в режиме археологии знания, а по линии генеалогии технологий власти. И в этом случае, как мне кажется, нам удастся воссоздать внутреннюю динамику текста не в связи с правилами формирования определённых концептов, а в плане целей, стратегий, которым он подчиняется, и программы политических действий, которая им предполагается.

По-моему, первое, что здесь обнаруживается, заключается в следующем: в сущности, для Абея та самая вещь, которой радикально противостояла юридическо-дисциплинарная система и которую она должна была стремиться предотвратить, а именно нехватка и дороговизна, — это зло, которого нужно было избегать, для Абея, а также для физиократов и других подобным образом рассуждающих интеллектуалов, злом, по сути дела, вовсе не является. И мыслить этот феномен в качестве зла было бы неправильным: он естественен, а потому его не надо рассматривать ни как зло, ни как добро. Он есть то, что он есть. Такого рода отказ описывать желательные или нежелательные вещи в терминах морали или, проще говоря, в категориях добра и зла, такого рода отказ означает, что основным предметом исследования становится уже не рынок, то есть не продажная цена продукта в зависимости от спроса и предложения, а нечто иное: теперь анализ смещается на один или, пожалуй, даже на несколько уровней ниже и обращается не столько к феномену нехватки-дороговизны, каким он предстаёт на рынке, ибо именно рынок, само пространство рынка выявляют дороговизну и нехватку, а к тому, что я назвал бы историей зерна с момента, когда оно попадает в землю, историей вместе со всем с ней связанным в плане труда, затраченного времени, отведения под засев определённых площадей — словом, в плане издержек.

Как обстоит дело с зерном с этого момента и вплоть до того этапа, на котором оно в итоге в полной мере обнаруживает свою способность приносить прибыль? Анализ, следовательно, концентрируется уже не на рынке с его эффектами нехватки-дороговизны, а на зерне со всем тем, что с ним может произойти и произойдёт в определённом смысле естественным образом, во всяком случае, в режиме функционирования той или иной совокупности законов. При этом рассмотрению подлежат и качество почвы, на которой выращивается

хлеб, и тщательность ухода за посевами, и климатические условия их произрастания (скажем, температура и влажность воздуха), и, разумеется, величина собранного урожая, и то, как он поставляется на рынок, и так далее. Как раз она, естественная действительность зерна, а не феномен голода, стало быть, оказывается отправным пунктом исследования.

И вот к такого рода реальной жизни зерна, взятой в её истории и со всеми случайными событиями, способными так или иначе сместить или отклонить данную историю в сторону от некой идеальной линии развития, — к такого рода реальной жизни зерна стремятся подключить устройство, о котором уже нельзя сказать, что оно призвано предотвращать колебания между избытком-дешевизной или нехваткой-дороговизной хлеба, ставить их под запрет, не дать им начаться, как это имеет место в ситуации с юридическо-дисциплинарной системой. То, чем хотели бы располагать Абей, физиократы и близкие к ним экономисты-теоретики XVIII века, является устройством, которое, будучи подключённым к самой реальности этих колебаний, заставляет её взаимодействовать с другими элементами реальности таким образом, что соответствующие колебания, именно в их статусе наличных, действительных, постепенно компенсируются, сдерживаются, затем радикально ограничиваются и в пределе полностью прекращаются. Ещё раз подчеркну: здесь мы сталкиваемся с работой в сфере самой реальности, каковой является реальность колебаний между избытком и нехваткой, дешевизной и дороговизной зерна, и данное устройство функционирует не иначе, как в режиме подключения к этой наличной действительности, а вовсе не в режиме попыток устранить её до того, как она станет наличной. Иными словами, теперь, на мой взгляд, мы имеем дело уже не с юридическо-дисциплинарной системой, но как раз с устройством безопасности.

Что же представляет собой это устройство, подключающееся к реальности, которую в определённом смысле просто признают, принимают, не возвышают и не принижают, а берут в качестве естественной? К чему стремятся с помощью такого рода приспособления, которое, поскольку оно подключено к этой реальности колебаний, позволяет оказывать на неё регулирующее воздействие? Речь пойдёт о вещах достаточно известных, поэтому я буду краток. Главное заключается в том, что цель, которой пытаются достичь с его помощью, — это вовсе не как можно более низкие цены на зерно: функционирование устройства безопасности вполне допускает их рост и, более того, даже способствует ему. Такого рода увеличение цен может иметь место вследствие использования несколько искусственных средств, характерных для английской хозяйственной модели, которая была ориентирована на поощрение зернового экспорта через систему льгот и сдерживание импорта зерна через систему пошлин. Да, подобные средства дают результат. Но чтобы добиться повышения цен на зерно, можно также и устранить — и именно на этот либеральный (понятие либерального мы обязательно рассмотрим) путь встают физиократы, — [упразднить] все запреты на его складирование, и тогда люди получают право — если захотят, когда захотят, и в том объёме, в каком захотят, — хранить зерновые запасы на складе, а значит, в урожайные годы будут придерживать их у себя, препятствуя образованию избытка хлеба на рынке.

Столь же целесообразно ликвидировать и все экспортные запреты: в этом случае у торговцев появится возможность при желании, как только это станет для них выгодно, вывозить имеющееся у них зерно за границу. И, наконец, перенасыщения рынка зерном в урожайные годы можно избежать, разрешая сразу и то, и другое: и складирование зёрна, и

его экспорт. И цены на хлеб останутся на должном уровне. Но тогда мы добьёмся того, что в рамках предшествующей системы было немыслимым, крайне неприятным и абсолютно нежелательным: в урожайные годы, когда в стране имеет место изобилие зёрна, цены на него тем не менее будут достаточно высоки. И случилось так, что такие люди, как Абей, а также все те, кто писал в ту эпоху в аналогичном ключе, смогли найти подтверждение эффективности предлагаемых ими методов достижения высоких цен на зерно в самой практике хозяйствования во Франции в период высоких урожаев с 1762 до 1764 года.

Итак, цена на зерно увеличивается даже в урожайный год. К чему же это приведёт? Прежде всего к развитию земледелия. Крестьяне, получившие хорошую прибыль от реализации своей продукции на рынке, будут располагать значительным количеством посевного зерна и иметь достаточно средств для расширения посевных площадей и улучшения качества обработки земли. А это значит, что высокие цены на зерно прошлого урожая серьёзным образом повышают шансы на хороший урожай в будущем году. И даже если погодные условия в этом будущем году окажутся не очень благоприятными, голода в стране тем не менее, вероятнее всего, не случится: отрицательное влияние погоды на урожай будет компенсировано именно увеличением засеваемых зерновыми площадей и улучшением качества земледельческих работ. Но с чем же мы в любом случае столкнёмся в результате такого рода развития земледелия? А с тем, что в этом будущем году аналогичного, соответствующего роста цен на хлеб у нас уже не будет: не будет, ибо в конечном счёте чем больше зерна производится в стране, тем с большей определённостью обнаруживается в ней тенденция цен на него к понижению. Таким образом, первоначальное удорожание хлеба с необходимостью приводит к уменьшению риска голода и к снижению или по крайней мере к замедлению роста цен на зерно. Вероятность голода и вероятность повышения цен на продовольствие уменьшаются здесь в равной степени.

Мы рассмотрели положение дел, при котором два следующих один за другим года в общем и целом являются благополучными: первый — весьма благополучным и характеризующимся повышением цен на зерно, второй — достаточно благополучным и характеризующимся замедлением роста этих цен. Обратимся теперь к иной ситуации: допустим, что второй год оказывается периодом настоящего, подлинного голода. И вот как рассуждает в этом случае Абей. В сущности, говорит он, что такое голод? Это вовсе не чистое и простое, тотальное отсутствие необходимого для населения продовольствия. Ибо в таких условиях население бы просто-напросто вымерло. Оно вымерло бы в течение нескольких дней или недель, но с такого рода исчезновением населения страны из-за отсутствия пищи, по мнению Абея, никто никогда не сталкивался. Голод, говорит Абей, — это «химера». [19] В действительности же имеет место следующее. Каким бы чрезвычайно малым ни был собранный урожай зерна, у населения всегда есть чем питаться в течение десяти, восьми или шести месяцев, то есть на протяжении хотя бы шести месяцев оно располагает средствами к существованию. Разумеется, феномены голода дадут о себе знать очень рано: определённые требующие регуляции процессы обнаружатся задолго до наступления этого шестого месяца, в конце которого люди должны были бы остаться без продовольствия.

Точнее говоря, в качестве отклонений от нормы данные процессы заявят о себе с самого начала, уже в тот момент, когда население почувствует, что страну ожидает неурожай. И как только это произойдёт, торговцы зерном тут же объявят о повышении цен. Логика,

которой они руководствуются, вполне очевидна: в прошлом году, имея такое-то количества зерна, за один мешок, за один сетье (Старинная мера жидкостей и сыпучих тел. — Прим. пер.) я выручил такую-то сумму; в этом году зерна у меня в два раза меньше, следовательно, каждый его сетье я буду продавать в два раза дороже. И цена на зерно на рынке подскакивает.

Но, говорит Абей, оставим подобное повышение цен в покое. Важно не это. Поскольку ни для кого не секрет, что законы не препятствуют торговле ни внутри страны, ни между государствами, всё прекрасно понимают: к концу шестого месяца продовольствие, недостающее населению, будет ввезено из-за границы. Однако известно ли людям, располагающим зерном для продажи и испытывающим желание придержать его у себя до того момента, когда в конце этого самого шестого месяца цены на хлеб должны были бы стремительно взлететь вверх, — известно ли им, такого рода людям, сколько именно зерна способны поставить экспортёры и сколько его, стало быть, окажется в стране? Нет. И они не могут исключить ситуации, при которой хлеба в стране в итоге будет так много, что цены на него просто обрушатся. Но тогда люди не станут дожидаться этого шестого месяца, когда цена на зерно, вместо того чтобы существенно вырасти, может, наоборот, упасть: они, скорее всего, постараются извлечь выгоду из того относительно небольшого повышения цен, которое произойдёт в самом начале, как только поступят известия о грядущем неурожае. А это значит, что они выбросят своё зерно на рынок, и мы уже не будем сталкиваться с тем, с чем сталкиваемся теперь, в период регламентации торговли, то есть со стремлением владельцев зерна придерживать его у себя, когда им становится известно о проблемах с урожаем. Стало быть, рост цен, конечно, произойдёт, но он очень скоро либо прекратится, либо даже сменится их понижением, ибо, имея в виду возможные массовые поставки хлеба из-за границы на шестой месяц, никто в стране больше не станет откладывать продажу зерна. [20]

Что касается ввозящих зерно иностранцев, то с ними дело будет обстоять аналогичным образом. Действительно, прослышав о голоде и высоких ценах на хлеб во Франции, английские, немецкие и другие экспортёры постараются воспользоваться данным обстоятельством. Однако сколько зерна в итоге поступит в страну — этого они не знают. Они не знают ни того, каким количеством зерна располагают их конкуренты, ни того, когда, в какое время и в каких объёмах такого рода конкурентами оно будет завозиться. И, разумеется, у них возникнут опасения, что, затягивая со своими собственными поставками, они могут существенно прогадать. Но в таком случае они попытаются начать свои поставки на французский рынок сразу же после повышения цен, и зерно будет поступать в страну до тех пор, пока он не наполнится. [21] Что это значит? Это значит следующее: идущие друг за другом процессы нейтрализации, компенсации, ограничения и в конце концов аннулирования вызванного случившимся неурожаем феномена нехватки-дороговизны порождены самим этим феноменом, точнее коллективно-индивидуальными механизмами его развёртывания, к которым мы сейчас вернёмся. Падение цен является следствием самого их повышения. Голод будет аннулирован не чем иным, как тем, что ведёт к голоду. Но в таком случае в сфере функционирования техники, каковой является техника неограниченного обращения зерна, ему просто нет места. И как раз поэтому голод, согласно Абею, — это химера.

С чем мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с восприятием рыночных механизмов, в соответствии с которым экономист ставит перед собой задачу не только проанализировать то, что происходит, но и составить прогноз того, что произойдёт. Однако чтобы быть успешным, такого рода анализ-прогноз, как вы уже могли заметить, обязан удовлетворять ряду условий. Прежде всего, такого рода анализ (М. Фуко добавляет: «подход». — Прим. ред.) должен обладать достаточной широтой. А это означает следующее. Во-первых, его надо распространить на производственную сферу. Во внимание должно приниматься движение товаров не только на рынке как [1] таковом, но и, о чём мы уже говорили, в рамках некоего общего цикла: начиная с актов их первичного производства и завершая процедурами их конечной продажи. Процесс получения прибыли земледельцем полностью включён в это совокупное движение, которое подлежит исследованию и которому необходимо соответствующим образом способствовать. Во-вторых, анализ должен быть распространён на уровень рынка зерна в целом: исследовать нужно не только национальный, внутренний рынок Франции, но и ситуацию на мировом рынке зерна, ибо она в состоянии оказывать существенное влияние на то, как продаётся и покупается зерно в той или иной стране. Рассматривая динамику купли-продажи хлеба во Франции в определённый момент времени, экономист, следовательно, не вправе забывать о том зерне, которое может поступить в продажу на рынок любого государства мира.

Итак, анализ должен распространяться на производство, и он должен распространяться на мировой рынок. Но его [в-третьих] необходимо распространить и на главных игроков рынка. Вместо того чтобы навязывать им некие правила поведения, нужно попытаться определить, понять, выяснить, как и почему именно так, а не иначе они действуют в том или ином случае: на какую выгоду рассчитывают, когда, ожидая повышения цен на хлеб, начинают придерживать зерно у себя; какие планы строят в условиях свободы зернового обращения, когда им неизвестно, сколько зерна будет завезено из-за границы и они, следовательно, не могут знать, к повышению или, наоборот, понижению цен на хлеб надо готовиться. И как раз эта вполне конкретная сторона поведения *homo oeconomicus* должна обязательно учитываться экономистом. Таким образом, перед нами экономический подход, политико-экономический анализ, который распространён на области производства, мирового рынка и экономического поведения населения, точнее, составляющих данное население производителей и потребителей.

Но это ещё не всё. Новый способ восприятия и прогнозирования вещей оказывает существенное влияние именно на понимание таких событий, как голод, таких случаев бедствия, как чреватая народным бунтом нехватка-дороговизна. По сути дела, голод, каким он представал до сих пор, был индивидуально-коллективным феноменом, несущим в себе угрозу и жизни многих отдельных людей, и жизни населения страны в целом, нации, и как раз такого рода объединяющая людей и нацию масштабность события голода и придавала ему характер бедствия. А что происходит с появлением рассматриваемого нами анализа и той политико-экономической программы, которая представляет собой его прямой результат? В сущности, событие начинает развёртываться на двух уровнях. Действительно, у нас есть основание утверждать: благодаря осуществлению предусмотренных программой мер или, точнее, в силу упразднения юридическо-дисциплинарной системы, которая существенным образом ограничивала зерновую торговлю, голод в общем и целом, как выражается Абей, «становится химерой». Обнаруживается, что, с одной стороны, он не

может существовать, а с другой — если раньше он и существовал, то это существование не было реальным в смысле некоей естественной реальности: он являлся не чем иным, как абберрантным следствием ряда в свою очередь абберрантных, искусственных мероприятий. Отныне, стало быть, голода нет.

Больше нет голода как бедствия, больше нет этого феномена нехватки, массивированного индивидуально-коллективного голода, который заявляет о себе повсюду и в известной степени не щадит ни индивидов, ни население в целом. И вот теперь голода на уровне населения уже нет. Но что это значит? Это значит, что посредством некоего «laisser»-faire», некоего «laisser»-passer», [22] некоего «идти» в смысле «дать вещам идти своим ходом» удаётся добиться его сдерживания. Там, где цены имеют тенденцию к росту, им позволяют расти. Феномену нехватки-дороговизны дают возможность утвердить себя и развиваться в том или ином секторе рынка, в целом ряде таких секторов, и сдерживание и ограничение этой нехватки и этой дороговизны будет осуществляться самим данным феноменом, самой данной реальностью, которой предоставили свободу развития. Однако, хотя в масштабах общества голод и исчезнет, в целом ряде секторов рынка определённая нехватка, определённая дороговизна, определённые трудности с покупкой зерна, а следовательно, и проблемы с продовольствием для целого ряда индивидов останутся, и в конечном счёте очень вероятно, что некоторые из таких индивидов будут умирать от голода. И тем не менее как раз ценой голодной смерти этих людей и можно превратить голод в химеру и помешать ему обрести ту массовость бедствия, которая было его характеристикой в предшествующих системах. Так что событие голода распадается. Голод-бедствие уходит, однако нехватка, из-за которой умирают индивиды, не только не исчезает, но и не должна исчезнуть.

Перед нами, следовательно, два уровня феноменов. И это не коллективный и индивидуальный уровни, ибо, в сущности, смерть или во всяком случае страдания от нехватки угрожают не просто тому или иному индивиду, но именно целой категории людей. Мы имеем дело с основополагающим разделением между уровнем населения, на который ориентирована политико-экономическая активность правительства, и уровнем серии, множества индивидов, который для правительства интереса не представляет или, точнее говоря, интересуется его лишь в той мере, в какой без должного управления определённой категорией людей, без их надлежащей поддержки, без оказания им соответствующего содействия невозможно добиться того, чего стремятся добиться применительно к населению в целом. Множество индивидов для правителей больше не значима, для них значимо как раз население. И нет сомнения, что в пространстве того, чем конституировалась целостность подданных или жителей королевства, это разделение и это противопоставление двух видов феноменов не реальны: с такого рода разрывом между значимым уровнем населения и уровнем второстепенным, или просто вспомогательным, мы сталкиваемся именно в границах знания-власти, в рамках технологии и экономического управления. Конечная цель — не что иное, как население. В качестве значимой цели выступает как раз оно, а индивиды, серии индивидов, группы индивидов, множество индивидов этим статусом не обладают. Множественность имеет отношение к делу лишь как инструмент, средство или фактор достижения некоторого результата на уровне населения.

Речь идёт о фундаментальном разделении, к которому я постараюсь вернуться, ибо, на мой взгляд, именно оно позволяет в полной мере раскрыть содержание понятия населения. В

свете этого разделения население как абсолютно не известный юридическому и политическому мышлению предшествующих столетий политический субъект, как новый коллективный субъект предстаёт во всей его сложности и специфике. Я думаю, для вас уже очевидно, что оно обнаруживает себя и в качестве объекта, то есть того, в отношении чего, применительно к чему, добиваясь от него определённой реакции, используют механизмы воздействия, и в качестве субъекта, поскольку требуется, чтобы оно вело себя тем или иным образом. Понятие населения пересекается со старым представлением о народе, но в смысловом поле этого понятия многообразие феноменов размещается на нескольких уровнях, и какие-то из такого рода уровней оказываются заслуживающими поддержки, а какие-то — нет или заслуживающими её в меньшей степени, чем первые. А чтобы всего лишь обозначить сюжет, к которому в силу его важности мне хотелось бы вернуться в следующий раз, я, завершая этим разговор о данном тексте Абея, обращаю ваше внимание на присутствующее в нём любопытное разграничение. Дело в том, что в конце своего анализа Абея всё же выказывает некоторое беспокойство. Да, говорит он, всё это превосходно, и голод-бедствие, безусловно, является не чем иным, как химерой. Голод действительно химера, если люди ведут себя надлежащим образом, то есть если одни из них соглашаются терпеть нехватку-дороговизну, а другие, понимая, что с ростом цен на хлеб на внутреннем рынке начнётся его привоз из-за границы, не медлят с продажей имеющегося у них зерна.

Всё это прекрасно, и было бы ошибкой полагать, будто здесь мы сталкиваемся лишь с особой, «хорошей», частью населения: такого рода поведение характерно для всех индивидов, образующих население как специфическую общность людей, которой власти стремятся управлять с максимальной эффективностью. И только поступая так, а не иначе, индивиды и становятся представителями населения. Но предположим, что в какой-то области страны, в каком-то городе, с одной стороны, вместо того чтобы терпеть, вместо того чтобы сносить нехватку, вместо того чтобы соглашаться с подорожанием хлеба, вместо того чтобы, следовательно, ограничивать себя в его потреблении и голодать, вместо того чтобы ждать, когда зерна на рынке будет в достаточном количестве и цены на него упадут или во всяком случае станут более низкими, более умеренными, — вместо всего этого значительное число людей набрасывается на продовольственные запасы и захватывает их без всякой оплаты; а с другой стороны, целый ряд торговцев необдуманно, вопреки здравому смыслу, накапливает у себя зерно, не выпуская его в продажу. И, таким образом, всё рушится: где-то вспыхивают бунты, где-то торговцы занимают скупкой продовольствия, а где-то имеем место сразу и то, и другое. Так вот, говорит Абея, в действительности все эти люди население собой не представляют. А кто же они? Они принадлежат народу. Властям, в своих управленческих усилиях ориентированным на население, на его уровень, народ демонстрирует, что в состав этого коллективного субъекта-объекта, каким оно является, он не входит, что он располагается вне него; и, стало быть, народ образуют люди, которые, отказываясь быть населением, разлаживают систему. [23]

Здесь Абея всего лишь обозначает свою позицию, но для нас сказанное им имеет большое значение. С одной стороны, замечания Абея явно связаны, в определённом отношении сближаются, находятся в соответствии с юридическими идеями, согласно которым, к примеру, всякий признающий законы своей страны индивид полагает себя в качестве подписавшего общественный договор и собственным поведением постоянно демонстрирует

уважение к нему и готовность к его продлению; и, наоборот, тот, кто преступает законы, этот договор нарушает, превращается в своей стране в чужака, и к нему, следовательно, применимы меры воздействия, предусмотренные уголовным кодексом: он может быть наказан, выслан, а в ряде случаев и подвергнут смертной казни. [24] Если исходить из идеи конституированного социальным контрактом коллективного субъекта, то преступник — это как раз человек, разорвавший данный контракт и оказавшийся за пределами данной коллективности. Но, с другой стороны, в своей краткой характеристике населения Абей сравнивает его именно с народом как совокупностью людей, в общем и целом оказывающих сопротивление тому регулированию, которым определяется население, и пытающихся противостоять воздействию того устройства, благодаря которому население имеет место, сохраняется и, вдобавок, функционирует в оптимальном режиме. Поскольку эта оппозиция народ/население весьма важна, в следующий раз я постараюсь показать, что, несмотря на кажущееся сходство населения с коллективным субъектом общественного договора, оно представляет собой нечто совершенно иное и [что] население и народ соотносятся друг с другом совсем не так, как соотносятся субъекты законопослушный и нарушающий законы: тот коллективный субъект, каким является население, от коллективного субъекта, конституируемого и оформляемого социальным контрактом, отличается достаточно радикально. [25]

Как бы то ни было, завершая этот разговор, я хотел бы отметить, что если мы стремимся глубже понять то, чем является устройство безопасности в качестве устройства, которое физиократы, да и экономисты XVIII века в целом, имели в виду в связи с проблемой голода, если мы стремимся дать ему соответствующую характеристику, нам, на мой взгляд, надо сравнить его с дисциплинарными механизмами, принимая во внимание функционирование последних не только в предшествующие эпохи, но и в период распространения устройств безопасности. В сущности, здесь, как мне кажется, можно сказать следующее.

Дисциплинарность — это нечто в высшей степени центростремительное: я подразумеваю, что она заявляет о себе в той мере, в какой изолирует пространство, определяет сегмент. Она концентрирует, центрирует, она заключает, и потому её первый жест направлен на то, чтобы очертить пространство, в котором её власть и механизмы этой власти будут действовать в полную силу и без каких-либо ограничений. Так, если вы обратитесь к дисциплинарной полиции по зерну, какой она была до середины XVIII века и какой она представлена в многостраничном «Трактате о полиции» Деламаара, [26] то убедитесь, что она действительно обслуживает центростремительность. Она изолирует, концентрирует, ограничивает, она является протекционистской и сосредоточивается главным образом на рынке или на пространстве рынка и том, что с ним непосредственно связано. Что же касается устройств безопасности, которые я пытался описать, то они, как вы видите, наоборот, постоянно ориентированы на расширение, они работают в режиме центробежного. С их помощью охватывают все новые и новые элементы: производство, психологию, поведение людей, образ действий производителей, покупателей, потребителей, импортёров и экспортёров, мировой рынок в целом, и в итоге удаётся организовать или во всяком случае обеспечить развёртывание всё более широкого круга процессов.

Теперь второе существенное различие. Дисциплина по своей природе ориентирована на регламентацию всего, а значит, не существует процессов, которые ускользали бы из-под её

контроля. При этом для неё важно не просто не пустить вещи на самотёк: для неё принципиально, чтобы самому себе не было предоставлено даже самое малое. Но очевидно, что чем менее масштабным оказывается то или иное нарушение дисциплины, тем больше усилий надо затратить на его обнаружение. А устройство безопасности? Оно, как вы заметили, напротив, позволяет событиям идти своим чередом (В рукописи (р. 7) в кавычках: «Безопасность «пускает на самотёк» в положительном смысле этого выражения». — Прим. ред.). И не то чтобы оно ничему не препятствовало: просто в случае с безопасностью позиция попустительства обязательна по отношению к определённому уровню явлений. Пусть растут цены, пусть имеет место нехватка продуктов питания, пусть будут люди, испытывающие голод, — всё это необходимо ради недопущения кое-чего другого, а именно голода как всеобщего бедствия.

Иными словами, устройства безопасности обращаются с частным совсем не так, как дисциплина. Дисциплинарность, в сущности, призвана противодействовать всему, и даже, причём в первую очередь, частному. Безопасность же, наоборот, как раз в частностях и ищет себе опору, однако теперь характер этих частностей определяют не посредством категорий добра или зла: их воспринимают всего лишь в качестве необходимых, неизбежных, природных — в широком смысле данного слова — процессов; и развёртывание такого рода процессов, которые рассматриваются такими, каковы они есть, но как таковые значимыми не считаются, необходимо для того, чтобы получить нечто, что будет существенным уже именно само по себе, ибо располагается не где-нибудь, а на уровне населения.

И третье различие. Дисциплинарность, а также системы законности — как они действуют? В сущности, они классифицируют вещи согласно коду, который является кодом разрешённого и запрещённого. А затем, уже в границах сфер разрешённого и запрещённого, уточняют, определяют конкретно, что именно запрещено, а что разрешено или, скорее, выступает обязательным. Так вот, можно сказать, что в рамках этой общей схемы система законности, система закона ориентирована в первую очередь на детальное определение запрещённого. Ведь к чему, собственно, призывает закон? Не делать этого, не делать ещё и того, не делать вдобавок и этого и так далее. Таким образом, процедуры уточнения и детального определения, которые осуществляются в пространстве системы законности, оказываются успешными и дают максимальный эффект тогда, когда речь идёт о том, чего нельзя допустить, чему необходимо воспрепятствовать. Другими словами, предельно детализированного анализа и воцарения порядка здесь добиваются, беря за точку отсчёта не что иное, как беспорядок. Но в таком случае порядок представляет собой то, что остаётся: это то, что остаётся после того, как общество действительно оградит от всего подлежащего запрету. И код законности, на мой взгляд, характеризуется именно этим негативным мышлением. Этим негативным мышлением и соответствующей ему негативной техникой.

По рубрикам разрешённого и запрещённого или, точнее говоря, обязательного и запрещённого постоянно распределяет вещи и дисциплинарный механизм. Но он сосредоточивается уже не на запрещённом, а именно на обязательном: настоящая дисциплинарность всё время указывает вам на то, что вы должны делать. И если в качестве модели интенсивной реализации дисциплинарного взять монастырскую жизнь, которая

действительно была отправной точкой и матрицей его развёртывания, то в рамках подлинной монастырской жизни наблюдается следующее: то, что должен делать монах, регламентировано полностью, причём с утра до вечера и с вечера до утра, и единственная область, находящаяся во власти неопределённости, — это сфера запрещённого, сфера запретов, которые в данном случае не формулируются. В системе закона всё, что не подверглось определению, является разрешённым; система же дисциплинарного определяет то, что должно быть сделано, и здесь всё остальное, то есть все не получившее определения, наоборот, оказывается запрещённым.

А устройство безопасности? В случае с ним, как я пытался вам показать, речь, по-видимому, идёт уже не о фиксации того, что недопустимо либо, напротив, обязательно: в данном случае важно взглянуть на вещи со стороны, важно занять такую позицию, которая позволяла бы наблюдать происходящие процессы как таковые, независимо от того, являются они желательными или нет. Это значит, что теперь вещи стремятся рассматривать на уровне их природы или, иначе говоря — поскольку слово «природа» в XVIII веке не имело того смысла, который мы вкладываем в него в настоящее время, [27] — они берутся в плане их наличной действительности. И именно исходя из такого рода действительности, опираясь на неё и пытаясь привести её в движение, заставить составляющие её элементы оказывать воздействие друг на друга, и функционирует механизм безопасности. Следовательно, если закон запрещает, а дисциплина предписывает, то безопасность, которая не запрещает и не предписывает, но делает возможными определённые запреты и предписания, — такого характера безопасность, в сущности, обеспечивает соответствие шагов правительства действительности с тем, чтобы данное соответствие аннулировало эту действительность, которой стараются соответствовать: она аннулируется, ибо её ограничивают, сдерживают или упорядочивают. И эта регуляция в пространстве самой реальности, на мой взгляд, является определяющей чертой работы устройств безопасности.

К этому, по-видимому, целесообразно добавить следующее. Закон работает в пространстве воображаемого, ибо имеет в виду представляемое и формулируется лишь при условии как раз представления того, что могло бы, но не должно быть сделано. Он, следовательно, воображает негативное. Дисциплина функционирует, если угодно, в сфере дополнения реальности. Человек скверен, человек плох, у него дурные мысли, дурные наклонности и так далее. И к режиму дисциплинарности обращаются для того, чтобы конституировать дополнение к этой реальности, конституировать посредством учреждения системы предписаний и обязательных для исполнения требований, которые оказываются тем более искусственными и тем более принудительными, чем в большей степени реальность, будучи именно реальностью, упорно сопротивляется настойчивым попыткам её преодоления.

И, наконец, безопасность, в отличие от закона, функционирующего в области воображаемого, и дисциплинарности, работающей в пространстве дополнения реальности, стремится найти себе место в реальном: ей нужно с помощью целой серии специфических процедур расчленения и компоновки заставить его элементы прийти во взаимодействие друг с другом. И здесь, на мой взгляд, мы сталкиваемся с весьма существенной, определившей характер и политической мысли, и политической организации новоевропейского общества установкой — идеей, что политика не должна напрямую подчинять поведение людей той совокупности правил, которые исходят от Бога или просто

не дают проявиться дурной природе человека. Политическое обязано вести игру в стихии реального, именуемой физиократами не иначе, как физикой, а отсюда следует только одно: политика — это физика, экономическая наука — тоже физика. [28] Делая такого рода вывод, физиократы, в сущности, имеют в виду не столько материальность в, так сказать, постгегелевском смысле слова «материя», сколько именно ту реальность, ту данность, на которую должно воздействовать и вместе с которой должно действовать политическое. Всегда встраиваться в динамику реального как такового — как раз к этому, я думаю, призывали физиократы, экономисты, представители политической мысли XVIII века, утверждая, что в пространстве физики мы остаёмся в любом случае и что порядок политического — это ещё и порядок природного.

И в то же время очевидно: этот постулат, то есть это фундаментальное положение, согласно которому политическая техника ни в коем случае не должна отрываться от игры реальности с самой собой, внутренне связан с ключевой идеей того, что принято называть либерализмом. Либерализм, игра: позволять людям действовать, вещам идти своим ходом, не мешать действовать, происходить и идти — всё это, в сущности, по сути дела, означает предоставить реальности возможность развиваться, развёртываться, изменяться в определённом направлении в соответствии с её собственными законами и принципами и в режиме функционирования её собственных механизмов. Так что проблему свободы, [к которой] я надеюсь скоро вернуться, [29] имеет смысл, по-видимому, рассматривать, анализировать под разными углами зрения. Разумеется, есть основания утверждать — и, на мой взгляд, это не будет заблуждением, это не может быть заблуждением, — что такого рода идеология свободы, такого рода требования свободы явились одним из необходимых условий распространения новоевропейских или, если угодно, капиталистических форм экономики. Здесь нет никаких сомнений.

Однако действительно ли именно свобода была тем, к чему стремились и чего добивались в первую очередь, когда стали прибегать к либеральным мерам, которые мы рассматривали на примере организации торговли зерном? Так или иначе, но этот вопрос возникает. Во-вторых, как-то я сказал следующее: процесс становления либеральной идеологии и либеральной политики в XVIII веке мы сможем понять лишь в том случае, если не будем забывать, что этот столь решительно превозносивший разного рода свободы век, тем не менее активно использовал дисциплинарную технику, которая, беря под надзирающий контроль детей, солдат, рабочих, свободу существенно ограничивала, хотя, с другой стороны, в какой-то степени и обеспечивала её реализацию. [30] Так вот, мне думается, я был неправ. Конечно, нельзя утверждать, что я был неправ абсолютно, но тем не менее я был неточен. Мне кажется, на первый план здесь выходит нечто иное. На деле эта свобода, как принцип идеологии и техники управления, должна быть понята в рамках изменения и трансформации технологий власти. И при ближайшем рассмотрении её распространение находится в прямом соответствии с распространением устройств безопасности.

Устройства безопасности, во всяком случае те, о которых я говорил, успешно функционируют исключительно при условии предоставления того, что является свободой в новоевропейском, сформировавшемся в XVIII веке смысле этого слова: теперь оно отсылает уже не к закреплённым за той или иной личностью льготам и привилегиям, а к возможности движения, перемещения, осуществления процесса обращения людей и вещей. Именно так

— как раз эта свобода обращения, эта возможность максимально широко понятого оборота и обозначается теперь словом «свобода», и рассматривать учреждение такого рода свободы, на мой взгляд, необходимо в качестве одной из сторон, одного из аспектов, одного из измерений учреждения устройств безопасности.

Идея управления людьми, изначально и самым серьёзным образом отталкивающаяся от природы вещей, а не от дурной природы человека, и идея управления вещами, имеющая в виду прежде всего свободу людей, то, чего они хотят, то, в осуществлении чего они заинтересованы, то, к чему они стремятся, — они, эти идеи, находятся в отношении прямого соответствия друг другу. Но тогда физика власти, в рамках которой власть осмысляется в качестве действия в пространстве природы и одновременно как регуляция, ориентированная и опирающаяся исключительно на свободу каждого индивида, и есть, я думаю, то самое главное, с чем мы теперь имеем дело. И по своей сути, в своей основе это, вообще говоря, не идеология. То, с чем мы здесь сталкиваемся в первую очередь, прежде всего является технологией власти; во всяком случае именно такой позиции я придерживаюсь. А завершим мы нашу общую характеристику механизмов безопасности анализом процедур нормализации, который я попытаюсь дать в следующий раз.

---

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 20:50:29

Зверобой обновил 27 января 2026 20:52:17